

НЕИЗДАННЫЕ И НЕИЗВЕСТНЫЕ ТЕКСТЫ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

I. «В ОПРАВДАНИЕ ПАМЯТИ ЧЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА»

Публикация Н. Чернышевской

Из всех выступлений Н. Г. Чернышевского в печати нет более горячего, искреннего и сильного как то, что было написано им «в оправдание памяти честного человека». Неподкупно благородная личность великого революционера встает здесь перед нами во весь могучий свой рост. Чернышевский вступает за жертву нелепых понятий, господствовавших в военной среде разлагающейся феодально-крепостнической России. Этой жертвой пал двадцатилетний юноша, корнет Десятов. Клевета, его погубившая, не могла быть снята с него в силу гнилых моральных традиций его круга. Неизвестный немец, по всей вероятности, ловкий аферист, объявляет о пропаже у него денег. Честь мундира запрещает офицерам произвести обыск между собою. Обвинение падает голословно и бездоказательно на одного из них. Он невиновен. Без всякого суда и следствия ему предлагается выйти из полка. Он не может доказать своей невиновности иным способом, кроме самоубийства. Тогда эта же самая военная корпорация, которая довела его до такого шага, поступает с его телом по всем правилам существующего законодательства и, не внимая последней просьбе о погребении, оставленной в завещании, хоронит его как попало, видя в нем лишь презренного нарушителя законов церкви и государства.

Предание гласности вопиющего инцидента и разоблачение гнилых морально-правовых устоев дворянства, доводившего, в лице кадрового офицерства, понятия о чести до чудовищных форм — вот какова была цель выступления Чернышевского в оправдание классово-чуждого ему молодого человека.

В это время цензура особенно свирепствовала по отношению к Чернышевскому: цензор Рахманинов целиком запрещает главу «История Мальтусовой теоремы» из «Очерков политической экономии, по Миллю», искажает статью «Нынешние английские виги» и подвергает значительным изъятиям рецензии на «Новые периодические издания». «Ну их к чорту всех, от Ковалевского до Рахманинова, — пишет Чернышевский Добролюбову 28 ноября 1860 г., — проходя через Делянова и уже не говоря о Медеме—все до одного скоты»¹.

Законодательство царской России, опиравшееся на основы христианской морали, рассматривало самоубийство как тяжкий грех, который вел за собою «недействительность духовного завещания и лишение христианского погребения». В данном случае, призывая русское общество выразить сочувствие матери Десятова, Чернышевский восставал против существующего в монархической России законодательства. Таким образом, в глазах цензуры, статья, написанная «в оправдание памяти честного человека», являлась орудием попрания существующего государственного строя и потому также пропущена к печати быть не могла.

Горячо вступаясь за жертву клеветы, Чернышевский, тем не менее, не мог оправдывать самоубийства как такового: мы знаем, как он отнесся к самоубий-

ству И. А. Пиотровского. Л. Ф. Пантелеев рассказывает в своих воспоминаниях, что Николай Гаврилович выразился тогда так: «Если Пиотровский не дорожил своей жизнью, то мог бы сделать из нее более разумное употребление, чем пустить себе пулю». «Мы эти слова истолковали в том смысле, что Пиотровский лучше сделал бы, если бы отдался политической агитации, чем покончить с собой»². Это истолкование слов Н. Г. Чернышевского следует признать безусловно правильным.

Публикуемая рукопись найдена в архиве Дома-музея Н. Г. Чернышевского в Саратове. Содержание статьи дает возможность заключить, что она была написана в самом конце 1860 г. или в начале 1861 г., и предназначалась к помещению в «Современнике», в котором, однако, не появилась. В литературе о Чернышевском и в его переписке не встречается никаких указаний на это предпологавшееся его выступление в печати. Осталось также неизвестным и истории, и литературе имя безвременного погибшего юноши. Единственное, что можно извлечь из литературного наследия Н. Г. Чернышевского и поставить в связь с данной статьей—это записка его к цензору Ф. Ф. Веселаго, относимая комментаторами «Литературного наследия» к началу 1861 г., где Чернышевский просит Веселаго спешно прочесть «одну статейку, которую неудобно было бы отлагать»³. Название статейки он не сообщает. Возможно, что этой «статьейкой» и было то собрание документов, которое Чернышевский объединил под названием «В оправдание памяти честного человека», присоединив к нему вступление и заключительные слова.

Рукопись заключает в себе 9 листов различного формата, исписанных несколькими лицами. Автографом Н. Г. Чернышевского являются начало статьи со слов: «Нам доставлены с просьбою» до «каждую подробность рассказываемого дела, контексты, связующие рассказ неизвестного, дневник Десятова и его письма, затем примечание к письму Десятова к поручику Рейцу и конец статьи, начинающийся словами: «Что прибавить к этим бумагам». Рассказ неизвестного, писанный карандашом, в некоторых местах вычеркнут чернилами, повидимому, рукою Чернышевского, и, ввиду неразборчивости почерка, для облегчения наборщикам, почти сплошь переписан также рукою Н. Г. Чернышевского поверх строк. Дневник Десятова и четыре его письма переписаны рукою жены Н. Г. Чернышевского, Ольги Сократовны. Это говорит за крайнюю спешность работы.

Рукопись была набрана; на полях ее встречаются написанные карандашом фамилии наборщиков: «Кузьмин», «Федоров» «Михайлов» и еще двоих, что также свидетельствует о спешности работы: такой незначительный по объему материал набирают сразу пять человек. Здесь типография следует просьбе Н. Г. Чернышевского на обороте последней страницы его рукописи: «Эту статью набрать как можно поскорее. Если бы часам к 4 был готов набор, я зашедши тогда в типографию, отвез бы статью эту сам к цензору хотя в первой корректуре». Возможно, что Чернышевский и отвозил корректуру к Веселаго и, не застав его дома, оставил ее вместе с вышеуказанной запиской.

Как бы то ни было, статья была приобщена цензурой к наиболее опасным и потому целиком положенным под сукно обличительным страницам Н. Г. Чернышевского.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Н. Г. Чернышевский, «Литературное наследие», т. II, стр. 375.

² Л. Ф. Пантелеев, Из воспоминаний прошлого. Ред. и комментарии С. А. Рейсера. Изд. «Academia», М. 1934, стр. 261. Подробно о самоубийстве И. А. Пиотровского см. там же, а также в воспоминаниях А. Я. Панаевой, изд. «Academia». М. 1928, стр. 361—362.

³ Н. Г. Чернышевский, «Литературное наследие», т. II, стр. 396.

«В ОПРАВДАНИЕ ПАМЯТИ ЧЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА»

Нам доставлены, с просьбою о напечатании, следующие бумаги. Всякие комментарии с нашей стороны только ослабили бы глубокое¹, потрясающее душу впечатление, производимое простыми словами, написанными несчастным юношею за несколько часов до смерти и безыскусственным, наскоро набросанным рассказом, который объясняет весь ход ужасного недоразумения, разрешившегося смертью Десятова. Скажет иной: «Но разве не было ему другого средства восстановить чистоту своего имени?»². Едва ли было другое средство. А если бы было, пылкий юноша не мог ждать.

Вот во-первых рассказ, написанный лицом, знающим все подробности. Он торопливо набросан карандашом. Мы не почли нужным переделывать его — в своей подлинной отрывочной форме, он тем ярче кладет печать истины на каждую подробность рассказываемого дела.

«11-го ноября в г. Бежецке, молодой человек 20 лет, Ямбургского Уланского принца Фридриха Виртембергского полка корнет Десятов кончил жизнь пулею в сердце.

«Вот как было дело:

«Между 5-м и 10-м числом Октября корнет Гончаров, одного полка с Десятовым, на пути из Москвы в Тверь, познакомился с одним немцем (не знаю фамилии), тоже ехавшим в Тверь. Остановились в гостиннице Гальяни. На другой день утром пришел к Гончарову Десятов, бывший в Твери проездом. Вслед за ним пришли Уланского Е. В. В. К. Николая Николаевича полка корнеты Мальковский и Чагин, бывшие в то время членами судной комиссии, судившей Гончарова за самовольную восьмимесячную отлучку. Гончаров велел подать шампанское. Начали пробовать силу — бороться, — и когда Десятов боролся с немцем, вошел слуга и сказал немцу, что его кто-то спрашивает. Немец вышел и, возвратясь чрез несколько минут, подошел к столу и взял лежавший на столе кошелек. — «В этом кошельке было 250 рублей серебром, а теперь их нет» — сказал немец. Что тут произошло, рассказывают весьма различно. Вошел солдат, сказал Мальковскому и Чагину, что их требуют в комиссию; они ушли; вслед за ними ушел и Десятов. Все рассказы со всеми вариантами в итоге тождественны: обыска сделано не было.

«В тот же или на другой день немец пришел к губернатору. «У меня пропало 250 рублей серебром так-то и так-то; тут были такой-то и такой-то; не смею подозревать гг. офицеров; у меня пропало последнее; теперь не имею с чем ехать» (он ехал в Сибирь гувернером к какому-то графу).

«Губернатор (граф Баранов) предложил немцу 50 рублей серебром с тем, чтобы он ехал немедля и не заводил дела. Немец согласился. Правитель канцелярии губернатора, г. Преферанский, тут же заметил графу: «Надо дать делу законный ход; нечего щадить мундиры». Граф не захотел.

«На другой день после происшествия в гостиннице Гальяни Десятов уехал из Твери в деревню к своему дяде. В первых числах ноября получает он в деревне записку от полкового адъютанта, явиться к командиру полка. 9 ноября приезжает в полковой штаб, в г. Бежецк, — в тот же день является к полковому командиру. Разговор полковника с корнетом одни рассказывают так, другие иначе; положительно известно только, что полковник предложил корнету отставку и прочитал ему следующее письмо: (письмо написано дивизионным адъютантом Юрьевым к полковнику Альфто-ну, как видно из письма, по поручению графа Беннигсена, командовавшего дивизиею за отсутствием генерал-адъютанта Безобразова).

Въ оправдание памяти
Честнаго Человека.

Наше Отечество, впрочем и вселенная,
 состоит из людей. И потому от нас
 требуется не только, чтобы мы
 не делали зла, но и чтобы мы
 делали добро. И потому, если
 кто-нибудь из нас, или из
 нашего Отечества, или из
 вселенной, делает зло, то
 это зло, которое он делает,
 вредит не только ему, но
 и всем нам. И потому, если
 кто-нибудь из нас, или из
 нашего Отечества, или из
 вселенной, делает добро,
 это добро, которое он делает,
 приносит пользу не только
 ему, но и всем нам. И потому,
 если кто-нибудь из нас, или
 из нашего Отечества, или из
 вселенной, делает зло, то
 мы должны сделать все, чтобы
 предотвратить это зло, и
 сделать добро. И потому,
 если кто-нибудь из нас, или
 из нашего Отечества, или из
 вселенной, делает добро,
 мы должны сделать все, чтобы
 поддержать это добро, и
 сделать еще больше добра.

Вот в чем состоит наша
 обязанность. И потому, если
 кто-нибудь из нас, или из
 нашего Отечества, или из
 вселенной, делает зло, то
 мы должны сделать все, чтобы
 предотвратить это зло, и
 сделать добро. И потому,
 если кто-нибудь из нас, или
 из нашего Отечества, или из
 вселенной, делает добро,
 мы должны сделать все, чтобы
 поддержать это добро, и
 сделать еще больше добра.

«Милостивый Государь

Алексей Карлович,

«До слуха его сиятельства графа Беннигсена дошло, что офицер вверенного Вам полка корнет Десятков во время своего проезда чрез г. Тверь из отпуска к полку сделал такого рода поступок, который заставил говорить весь город, начиная с губернатора, и положил пятно на весь полк.

«В немногих словах я объясню Вам это дело: корнет Гончаров, следуя по железной дороге из Москвы в Тверь, познакомился с неким иностранцем, отправляющимся в Сибирь на какое-то место, и пригласил его остановиться в одной гостинице и №. На другой день утром к Гончарову собралось несколько офицеров, а в числе их корнет Десятков; чрез известный промежуток времени у иностранца не оказалось 250 р. с. единственного его средства доехать до места своего назначения. Подозрение пало, как меня уверял сам Гончаров, на корнета Десяткова.

«Вследствие всего этого, граф поручил мне написать Вам и просить Вас предпринять меры для удаления корнета Десяткова из полка, ибо, как он сказал, все, касающееся дивизии, чувствительно и для него.

«С истинным уважением и таковою же преданностью имею честь быть Вам покорнейший слуга

Ал. Юрьев».

11-го ноября утром Десятков застрелился. До той минуты, когда полковник показал Десяткову письмо дивизионного адъютанта, Десятков не знал молвы, обвинявшей его; не знал он и того, что молва между прочим говорила будто драгунского полка поручик Рейц назвал его в глаза вором, и будто он смолчал. Последнее ему сообщил г. Попов, бывший у него за несколько часов до его смерти. Пред самой смертью Десятков протестовал против этого письма к Рейцу³.

Десятков застрелился не в минуту порыва, когда человек от сильного душевного потрясения теряет сознание своего поступка, когда, обезумев от боли, ищет исхода, бьется головой об стену, хватает что попало под руку, и если то пистолет, пускает в себя пулю; убьет ли его эта пуля, или не убьет — он в ту минуту не думает о том; он ни о чем не думает, ничего не хочет: ни жить, ни умереть, — он ищет исхода, — прошел кризис, и если остался жив — живет и благодарит судьбу, как благодарит вставший от смертельной болезни. Не так застрелился Десятков. Он застрелился обдуманно: за полтора суток, решился умереть — и умер. Промахнись первая пуля, он бы верно всадил в себя другую, третью. Что же вызвало такую решимость?

Положение Десяткова было безвыходно. Где убийцы?

Некто сказал, что Десятков вор. Господствующие понятия в той среде, в которой жил Десятков и к которой принадлежал вполне по своему воспитанию и по своим личным понятиям, указывали на личную расправу: стреляться с этим некто. Здравый смысл говорил... если этот некто — честный человек...⁴.

Вот набросанный карандашом на полулисте бумаги рассказ, который мы печатаем, не изменив в нем ни одного слова. Он дышит полным беспристрастием и несомненною правдивостью. Теперь следуют бумаги, найденные по смерти Десяткова. Во первых дневник самого Десяткова о последних 24 часах его жизни.

ЗА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ...

Вчера утром приходил ко мне полковник, но не застал дома. Добрый человек! Вероятно, хотел меня успокоить; я уважаю этого человека. Подсадив, что выписанные на мое имя пистолеты не успели во время, я отправился в 10 часов утра из дому. Главною моею целью было найти писто-

леты. Иду, не знаю куда, совершенно машинально забрел в первую попавшуюся лавочку и накопил всякой дряни. Лавочник воспылствовал тем, вероятно, что я не об том думал, и в итоге оказалось пряников на 2 рубля серебром. Прошел всю большую улицу отвратительного Бежецка и незаметно очутился на базаре. Шум разношерстной толпы, крики всевозможного рода животных, начиная от млекопитающих и кончая моллюсками, заставили меня разогнать черные мысли.

Чего не перечувствуешь, твердо решившись умереть завтра!.. Первое, что мне представилось в это время или, лучше сказать первое, что я подумал, относилось к тому, что еще десятков шесть лет, и немногие из них останутся на поприще жизненной деятельности.

Но главное, что первым из них должен умереть я!..

Кто знал из этой огромной массы народа, что среди них стоит полумертвец?..

Мысль о пистолетах меня не оставляла.

Я хотел было уже бежать на постоянный двор и лететь в Москву отыскивать Гончарова, но вспомнил данное полковнику слово не отлучаться из города; я совершенно повиновался ему. Вижу, идет Шитеньев, мы раскланялись; мне бы хотелось знать, что он тогда обо мне подумал. Пролетел на тройке корнет Хомяков и успел крикнуть: «Где это вы все пропадете?»

Все вокруг живет, кажется жизнью, а на душе у меня свинец. Простояв несколько времени на площади, я сел на первые попавшиеся розвальни и велел ехать в Кобылино (к г. Гейсту, управляющему именем моего родственника). Гадкая кляча, заплетая ноги, кое-как протащила меня эти семь верст. Чтоб хоть чем-нибудь развлечь себя и разогнать рисующуюся передо мной картину своего погребения, я начал грызть пряники и щелкать орехи, везенные маленькому сыну Гейста. Вхожу в дом, раскланиваюсь с хозяевами, которые мне очень обрадовались и, как я заметил, куда-то собирались ехать. После я узнал, что они собирались к г. Гофмейстеру лесничему графини Паниной, который в это время был у них.

Извиняясь пред хозяевами, что попал в такое время и получив от них в свою очередь много извинений, я был приглашен г. Гофмейстером ехать вместе к нему. Гофмейстер очень мило играет на фортепьяно и потому, пока лошади еще не были поданы, сыграл несколько маленьких пьес и танцев. Не показывая хозяевам признаков грустного настроения духа, я принужденно веселился, пел, танцевал с крошечной их дочкой и старался скрыть свои чувства. Несмотря на все это, они, кажется, заметили, что я, как говорится, был не в своей тарелке. Прошел в кабинет и не заметив висевших там прежде пистолетов, обратился по этому случаю к г. Гейсту, с вопросом, на что получил ответ, что они в починке. «Ах! подумал я, и тут неудача!» Присутствие же Гофмейстера меня однако ободрило: я знал, что он большой охотник и смело рассчитывал, что у него есть всякого рода оружие.

Лошади поданы, и мы отправились. Дорогой пел любимый мой романс «Матушка голубушка» и в то же время обдумывал, каким образом и для чего выпросить у Гофмейстера пистолеты. План составлен. Мы приехали. Я не ошибся: оружия много, и на столе лежит пара пистолетов. Речь об них не замедлила скоро начаться. Он рассказал мне об их превосходном достоинстве, и кончилось тем, что я попросил у него завтра их попробовать на предполагаемой как будто бы завтра пальбе в цель. Он согласился. Дело осталось только за пулями, но вот уже и определен кусок свинца, назначенный рассечь мое сердце. Гофмейстер вылил несколько пуль и вместе со всеми припасами положил в бумагу. Я казался веселым. Мне Гофмейстер премилая особа, прекрасно образованная, с ней я провел весело

время, и завтрашний план мало по малу стал оставлять меня, пока я не зашел в кабинет и не заметил пистолеты уже заряженными. Один из них я пробовал, и пуля пробила две доски, довольно толстые. Пистолет этот я зарядил сам, чтоб не умереть от пули, вложенной другим. Меня просили быть осторожным с пистолетами, потому что у них есть пружина, вследствие нажимания которой курок спускается без малейшего усилия. Я обещался.

Часов в 8 мы отправились оттуда опять к г. Гейсту и, несмотря на его усиленные просьбы остаться ночевать, я не согласился и просил приготовить лошадей к 9 часам.

Прощаясь, он опять напомнил мне, чтобы я был как можно более осторожен с пистолетами. Положив их в боковой карман шинели, я незаметно доехал до Бежецка, потому что уснул и проснулся уже тогда, как кучер сказал: «приехали-с!» Сны были черные...

Улегшись заснуть, я решительно не мог заснуть, мысли одна чернее другой кружили мне голову. Весь я был в каком то жару. Собака выла почти под самым окном... Я схватился правой рукой за левый бок и стал отыскивать точку биения сердца, чтобы завтра не промахнуться; оно билось так сильно, что даже рука приподнималась. Пистолеты и письма во всю ночь лежали в изголовьи, человек мой не видал даже, как я внес их в комнату. Но вот миновалась мучительная ночь! Я велел подать себе чистое белье и — не скрою чувств своих... увидел на нем вензель, вышитый матерью... горько заплакал, поцеловал его... одевшись, принялся писать и сделал кое-какие распоряжения. Сейчас, т. е. за несколько часов до смерти, которую я назначил себе, приезжал Попов. Но рана, которая запала мне в душу, кажется, не уступает той, которая будет от пули... Он не успокоил меня... Пошлю за фельдшером: быть может, прицельюсь неверно, и тогда его пособие необходимо.

1860 года
11 ноября.

Наконец, вот письма, оставленные Десятовым; их четыре: 1) к товарищам; 2) к г. Семенову; 3) к Рейцу; 4) к матери.

1

«Товарищи и добрые сослуживцы!

Меня более уже не существует, потому что, как видите, пуля не промахнулась, следовательно рука не дрогнула. Прочитав мое письмо, Вы убедитесь, что умирая совесть моя была чиста. Согласитесь, что сказание Ярослава «Мертвые бо срама не имут» совершенно правильно. Мне теперь все равно; но при всем том поклянусь вам тем светом, в котором нахожусь теперь, что приписанный мне поступок — суцая клевета. Клевета, которая глубоко запала мне в душу. Уважая вас и ценя честь нашего полка, я решился на самоубийство. Не вините меня, потому что чувство совести, всосанное мною вместе с молоком матери и не позволившее бы мне сделать преступление, в то же время заставило меня поднять на себя руку. Полковник тут сторона, он исполнил свой долг, показав мне нелепое письмо. К чести его отношу то, что он не скоро на это решился.

Горжусь, добрые товарищи, что умираю в мундире того полка, на котором не существует черных пятен. Распорядителем после смерти в лице целого полка избираю командира лейб-эскадрона ротмистра Семенова, которого прошу успокоить добрую мать и написать ей, что я умер после болезни. Знаю, что ей, как женщине образованной и безгранично меня любящей, трудно будет перенести потерю сына, но что делать?.. Неужели для того, чтоб ее успокоить, нельзя будет закрыть простреленное сердце?.

Умоляю вас похоронить меня у вновь построенной Линевым церкви Вознесенья. Как довести меня туда, я напишу Алексею Павловичу.

Теперь позвольте мне Вам [сказать] последнее: прости и умереть с истинным к Вам расположением и преданностью. Не поминайте лихом и постарайтесь раскрыть истину.

Ябургского Уланского его королевского высочества принца Фридриха Бюртембергского полка

Корнет Десятов

2

Многоуважаемый Алексей Павлович!

Примите на себя труд сделать все как следует. Деньги на гроб и на что следует по расчету, возьмите у Романа Егоровича Гейста, скажите ему, что фон Бок за все заплотит. Потребуйте от него тройку, чтоб свезти мое тело в с. Расторопово, где и прошу похоронить. Пока будут делать гроб, чтоб он послал в Расторопово записку Феодору Карловичу Крузе о высылке новой тройки для встречи тела и доставки по принадлежности. Мне очень нравится церковь Вознесенья. Пока меня повезут, можете известить родственников, о которых спросите у Павлушки, он всех знает.

Вещи мои продайте с аукциона, как-то: новую шинель, седло, белье, два новые чемодана, все платье, кроме новой полной парадной формы, в которой прошу положить в гроб. Все вещи, которые на столе, одним словом все. На вырученные деньги отдайте долги. Зубовичу 25 руб. В клуб хорошо не знаю, посмотрите в книге. Максимову 29 р. 30 коп. Кондитеру Мишелю 15 руб. Миллер Гейсу 6 руб. У знакомого моего в Москве обер-кондуктора Бари брал 15 руб. Вам за продовольствие лошади следует 15 руб. За квартиру за три месяца 12 руб. Донину 20. Гродгусу 10. Что составляет около 150 руб. Надеюсь, что хватит, а если что останется, перешлите фон Боку на сохранение до приезда наших из Петербурга. Портфель со всем, что в нем находится, не продавать, а отдать туда же. Узнайте, молю Вас, от этого поганца немца, который на меня осмелился сочинить такую небылицу, было ли у него за душой 250 руб. Знаю только, что бог его накажет, потому что на меня сказанное, — чистая ложь. Остальное сделайте по вашему усмотрению.

Прощайте, мой дорогой.

Желаю вам наслаждаться жизнью.

Н. Десятов

3*

Поручик Рейц!

Вы никогда не говорили мне фразы, в которой предлагали с Вами рассчитаться. Будьте уверены, что я никогда не отказался бы отвечать Вам. Поклянитесь, что Вы говорили, тогда я виноват перед Вами. Вы хотели себя выставить с хорошей стороны пред другими и решились так нагло врать. Не здесь, так на том свете отомщу Вам. Скажите то же Гончарову.

Десятов

* Из этого письма мы выпускаем несколько слов резкого упрека. Мы желали бы, чтобы г. Рейц и г. корнет Гончаров мог доказать, что молва, передавшая Десятову, будто бы они говорили против него, была клеветой. Страницы «Современника» открыты для их объяснений, это разумеется само собою. (Примечание Н. Г. Чернышевского).

Выпущено начало письма: «Вы подлец, потому что» (Н. Чернышевская).

Милая!

Чувствую, что я очень болен и не знаю, переживу ли болезнь, меня терзающую. Не плачьте, умоляю Вас, потому что Вы расстроите свое здоровье, которое берегите для сестры и брата. Целую Вас и прошу благословенья.

Н. Десятов

Что прибавить к этим бумагам, так ⁵ неподдельно рисующим ⁶ мужественную, простую, чистую душу несчастного молодого человека?

Надобно прибавить одно только, от лица всего русского общества, — сказать слово — если не утешения — что может утешить в такой потере? то сочувствия бедной ⁷ матери несчастного ⁸.

Да скажет ⁹ ей каждая и каждый в нашей земле: Вы имели сына, благороднее которого не имела ни одна мать, и какова бы ни была Ваша скорбь о нем ¹⁰ гордитесь ею, и да укрепится дух Ваш ¹¹ сочувствием всего русского общества.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Зачеркнуто: «Непоколебимос».

² Переправлено из: «доказать свою невинность».

³ Зачеркнуто: «16 ноября Десятова зарыли между валом и оградой Бежецкого городского кладбища. В письме к товарищам Десятов пишет: «Умоляю Вас похоронить меня близ церкви Вознесения». Церковь эта в с. Расторопове в 50 верстах от г. Бежецка. Почему же не исполнили его последнего: умоляю?—Не позволили.

«Просили разрешения у графа Баранова, — отказал: по закону тело Десятова должно зарыть в черте города Бежецка. Самоубийца не может делать никаких завещаний. И после, что есть же люди, которые кричат, будто у нас не исполняют законов.

«17 ноября ночью приезжает из Петербурга в Бежецк отец Десятова. Он ничего не знает. Посланная к нему эстафета не застала его в С.-Петербурге. Ночью он ищет квартиру сына. В хлебопекарне огонек. Отец стучится в окно: «Где квартира корнета Десятова?» — Какого Десятого? Что сорок тысячто украл? Его зарыли сегодня!

«Корнету Десятову было 20 лет: в 1859 году выпущен из Новгородского Кадетского корпуса; не имел независимого состояния».

⁴ Рукопись неизвестного обрывается на полулисте, неровно оторванном и повидимому уничтоженном, вследствие чего содержание его полностью не дошло до нас.

⁵ Зачеркнуто: «живо».

⁶ Зачеркнуто: «благородную».

⁷ Зачеркнуто: «мысль о которой была последней мыслью умирающего».

⁸ Зачеркнуто: «страдальца».

⁹ Зачеркнуто: «вместе с нами».

¹⁰ Зачеркнуто: «многие позавидуют вам».

¹¹ Зачеркнуто: «общим».

II. НЕИЗВЕСТНЫЕ РЕЦЕНЗИИ НА ВОРОНЕЖСКИЕ ИЗДАНИЯ

Публикация Н. Богословского

Рецензии на «Воронежский литературный сборник» 1861 г. и на «Воронежскую беседу» 1861 г. впервые были опубликованы без всякой подписи в журнале «Современник», 1861 г., № 12, стр. 189—194 и стр. 195—210.

Принадлежность их Чернышевскому устанавливается на основании собственноручной записи Чернышевского, содержащей список его статей и рецензий.

Незначительные с первого взгляда рецензии эти представляют определенный

интерес. Они косвенно связаны с давними спорами о народности в литературе, разгоревшимися с новой силой в журналах конца 50-х и начала 60-х годов.

Появление провинциальных сборников, посвященных изучению «элементов народного быта» на «местном» материале, не могло не привлечь к себе внимания столичных журналов. Так, например, в 1860 г. на выход «Пермского сборника» (о котором Чернышевский говорит в первых же строках данной рецензии) откликнулись и «Отечественные Записки» и «Современник». Чрезвычайно характерно то обстоятельство, что в «Отечественных Записках» рецензия на «Пермский сборник» шла под общей рубрикой «Различные направления в изучении русской народности» и самому разбору сборника предшествовала вводная статья, дававшая краткий обзор теорий народности в литературе от екатерининских времен до конца 50-х годов XIX века (см. «Отеч. Зап.», 1860, т. СХХІХ (март), стр. 24—36). Вводная статья эта заканчивалась следующими словами: «Мы еще не знаем элементов нашего народного быта и нашего народного характера, но благодаря трудам наших ученых, мы надеемся их узнать. Вот почему мы намерены с особенным вниманием следить за всеми трудами в этом направлении...»

Далее шла рецензия на «Пермский сборник», в которой «Отечественные Записки» продемонстрировали бесстрашие «академического» подхода к материалу. Вся рецензия была посвящена главным образом статье М. Рогова «О свадебных обрядах в Пермском уезде»; «Отечественные Записки» старались заинтересовать читателей чисто этнографическим и фольклорным материалом, напечатанным в сборнике.

Совершенно иначе подошел к тому же сборнику «Современник» (см. № 5 1860 г.). «Современник» отодвинул на второй план этнографический материал «Пермского сборника» и заострил внимание читателей на документах и статьях, действительно касавшихся народной жизни в прошлом и настоящем. «Современник» писал: «В «Сборнике» приведено несколько документов о Пугачевском бунте, об осаде Кунгура в 1774 г., передается биография архимандрита Иакинфа [виновника крестьянских волнений в Зауралье, известных под именем «дубинщины». — Н. Б., г. Зырянов рассказывает о смутах в Шадринском уезде в 1842 г.— все домашние истории, в которых хорошо отражается в внутреннее положение страны, отдаленной от центра государства и часто делавшейся жертвой безурядицы (Последняя часть фразы несомненно вызвана цензурными соображениями. «Современник» лучше других журналов знал, что жертвой безурядицы была вся страна, а не только отдаленные провинции, но высказать это совершенно открыто было конечно немислимо).

Подробнее всего «Современник» останавливается именно на статье об архимандрите Иакинфе, который «с необузданным самовластием» угнетал крестьян и был убит в конце концов восставшими крестьянами. «В этой истории,— писал анонимный рецензент «Современника»,— мы найдем много фактов для объяснения народного характера, как он представляется нам в настоящую минуту».

Нетрудно заметить, что тут в подцензурной рецензии передавалось в сущности то, что с полной ясностью могло быть сказано лишь в прокламациях идеологов крестьянской революции.

Надо сказать, что в «Отечественных Записках» эти «домашние истории» «Пермского сборника» почти обойдены молчанием. Там об этом материале мимоходом брошено лишь беглое безразличное замечание.

Вслед за Пермью свою лепту в дело изучения «элементов народности» и «народного характера» попытался внести и Воронеж. В 1861 г. появились там два огромных печатных тома: «Воронежский литературный сборник» и «Воронежская беседа». Появление их, в особенности первого сборника, могло вызвать только разочарование у Чернышевского.

Беллетристический отдел «Воронежского литературного сборника» был забит

никуда негодными стихами и доморощенными переводами, а в «научно-публицистическом» разделе главное место было отведено таким «ученым» трудам, как «Жизнеописание митрополита киевского и галицкого Евгения», статья свящ. Никонова «О благочестивых обычаях и религиозных учреждениях, существующих у жителей Воронежской епархии», «Очерки поверий, обрядов, примет и гаданий» и т. д. и т. д.

Само собою разумеется, что эти трактаты богомольных воронежских краеведов не могли получить одобрение Чернышевского. С первых же строк рецензии Чернышевский напомнил о «Пермском сборнике», «дельное направление которого было в 1860 г. отмечено в «Современнике». По отношению к «Воронежскому литературному сборнику» он берет скрыто-иронический тон. Осудить «церковный уклон» «Воронежского сборника» открыто нельзя, и Чернышевский прибегает к излюбленному им способу подбора цитат, которые говорят сами за себя. Короткие язвительные реплики его, заключенные в скобки, с первого взгляда невинны, но в действительности весьма ядовиты.

Пустота, бессодержательность статей, наполняющих «Воронежский литературный сборник», становится ясней и ясней по мере развертывания красноречивых цитат.

В рецензии Чернышевский разбирает упомянутую статью Никонова. Желая подчеркнуть, что восхваление свящ. Никоновым одной «чудотворной» воронежской иконы не бескорыстно, Чернышевский вставляет под видом продолжения цитаты замечания от себя. Никонов пишет: «У старожилов города и в целых некоторых фамилиях живо хранится в памяти постоянное и всегда особенное уважение, каким чувствуется икона сия. Чернышевский добавляет, не закрывая кавычек: находящаяся в церкви, при которой служит автор».

В рецензии на «Воронежскую беседу» Чернышевский отдает ей полное предпочтение перед «Сборником», поскольку в «Беседе» напечатаны интересные документы о Пугачевщине, стихи Никитина и автобиографический «Дневник семинариста», стихи Н. Берга, статья о Кольцове (не блещущая, правда, особыми достоинствами, но по крайней мере тематически приемлемая) и т. д.

Отметив, что «Беседа» не сумела удержаться от напечатания некоторых «провинциальных пустяков и наивностей», Чернышевский подробно остановился на поэме Никитина «Тарас» и на его «Дневнике семинариста». Надо сказать, что незадолго до появления «Беседы» И. Никитин скончался (16.X. 1861 г.). Чернышевский в свое время выступал с резкой оценкой стихотворений Никитина, которые он считал эпигонскими, книжными и оторванными от жизни (см. «Современник», 1856, № 4, Собр. соч. т. II, стр. 349—354).

В «Тарасе» и в «Дневнике семинариста» Чернышевский усмотрел сдвиг Никитина в сторону сближения с действительностью и с большой похвалой отозвался об авторе этих произведений, составивших по его словам украшение «Воронежской беседы».

ВОРОНЕЖСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ СБОРНИК,

ИЗДАВАЕМЫЙ Н. ГАРДЕНИНЫМ ПОД РЕДАКЦИЕЙ И. МАЛЫХИНА.

ВЫПУСК I.

ВОРОНЕЖ. 1861.

«Пермский сборник» хорошо зарекомендовал перед публикой провинциальные сборники. Ободренные и соблазненные благосклонным приемом, который был сделан ему петербургскими журналами¹, провинциальные сборники с его легкой руки стали появляться и в других местах и тоже обратили на себя внимание публики, которая вообще как-то снисходительно смотрит на провинциальные издания, и всегда ожидает от них чего-нибудь дельного. И это ожидание имеет свои основания; столичные журналы, газеты и всякие периодические издания — дело обыкновенное, так сказать, будничное: они являются каждый месяц, каждую неделю и даже каждый день;

заготовление и обработка их ограничены тесным пределом известного срока для выхода книжек; все делается наскоро, чтобы только успеть к назначенному сроку. В столицах такое множество периодических изданий, и выход в свет журнальной книжки или газетного листка есть явление, нисколько не замечательное в общем течении столичной жизни. В провинциях же, напротив, появление какого-нибудь туземного сборника есть явление далеко выступающее из ряда обыкновенных; к изданию сборника приготавливаются долго, в составлении его участвуют все знаменитости туземные, весь цвет и сок провинции. Предметами для статей избираются какие-нибудь местные особенности, или интересные достопримечательности, которыми славится провинция, и которые, так сказать, составляют ее специальность и гордость. Такие-то предметы особенно интересуют столичных и других провинциальных читателей, на них они прежде всего и бросаются в провинциальных сборниках. А между тем эти последние, по свойственной провинциалам скромности, как-то не охотно говорят об особенностях и достопримечательностях своей родины, боясь и конфузясь особенно пред столичными читателями, которых провинциалы считают людьми гордыми, холодными и эгоистическими, которые интересуются только тем, что их окружает, а на провинцию смотрят с презрением и не имеют ни малейшего желания узнать то, чем славна она. Но зато, с другой стороны, провинциалы слишком наивны; если вы из вежливости покажете вид, что готовы слушать рассказы об их родине и интересуетесь ее достопримечательностями, они замучат вас самыми подробными повествованиями о том, что у них и как у них, воображая, что какие-нибудь провинциальные пустяки и для вас так же важны и интересны, какими кажутся для них. В таких случаях провинциала нельзя слушать без смеха и сожаления. Все это — провинциальная недоверчивость и наивность — отразилось и на «Воронежском сборнике».

В ученом отделе «Сборника» помещен «Очерк жизни и ученых трудов Евгения митрополита киевского», уроженца воронежского². Автору очерка почему-то представилось вот что: «никак не смеем думать, чтобы наша статья заинтересовала кого-либо из просвещенных соотечественников нашего отечества» (стр. 244). Помилуйте, отчего-же? Митрополит Евгений личность известная, ученые труды его тоже очень почтенны, и ваша статья заинтересует не только соотечественников вашего отечества, может быть даже делается известною «в ученом мире отдаленной Европы». А и в самом деле, подумал автор; потому что «исследовав пути промысла в сумраке веков минувших и воскресив из праха забвения славу и просвещение умерших, Евгений оставил по себе избыток разума и глубоких исследований о древности, сделался вторым русским Нестором, философом и богословом, прославившим Россию в ученом мире отдаленной Европы» (стр. 235). Затем автор вошел в свою колею и пошел повествовать в таком роде.

«Евфимий Алексич (Евгений) 4 ноября 1793 г. вступил в законный брак с девицей тамбовского наместничества города Липецка, дочерью купца Антона Филиппова Расторгуева, Анною Антоновною. 25 марта 1796 г. определен присутствующим воронежской консистории, имея постоянное жительство в городе Воронеже, в собственном доме, близ Ильинской церкви (знаете?). От этого брака имел он трех детей, именно: 26 августа 1794 г. родился у него сын Адриан, который 25 марта 1795 г. скончался; 9 марта 1797 г. родился еще у него сын Николай, умерший так же в младенчестве; 3 августа 1798 г. родилась дочь Пулхерия, умершая одного году; 21 августа 1799 г. скончалась и супруга его Анна Антоновна на 22-м году от рождения. Где погребены первые его два сына Адриан и Николай, неизвестно (жаль; отчего бы не исследовать этого?); а жена его Анна Антоновна (а не Анна Ивановна?) и дочь Пулхерия покоятся в пригородной

слободе города Воронежа, Чижевке, близ самого алтаря Сошествия Св. Духа; над ними воздвигнут памятник самим протоиереем Евфимием Болховитиновым (Евгений) и, судя по шрифту, с его собственноручной надписью. Примеч. Памятник этот сложен из кирпича, в виде небольшой пирамидки. В нее вделаны две каменные плиты, одна с восточной, а другая с западной стороны, на коих начертаны означенные надписи. Малые дети испортили эту надпись (увы!), да и самая пирамидка ветшает. Нет родственной руки, которая поддержала бы этот памятник (еще более увы!). Выпишем буквально здесь эту эпитафию (ах, сделайте одолжение!).

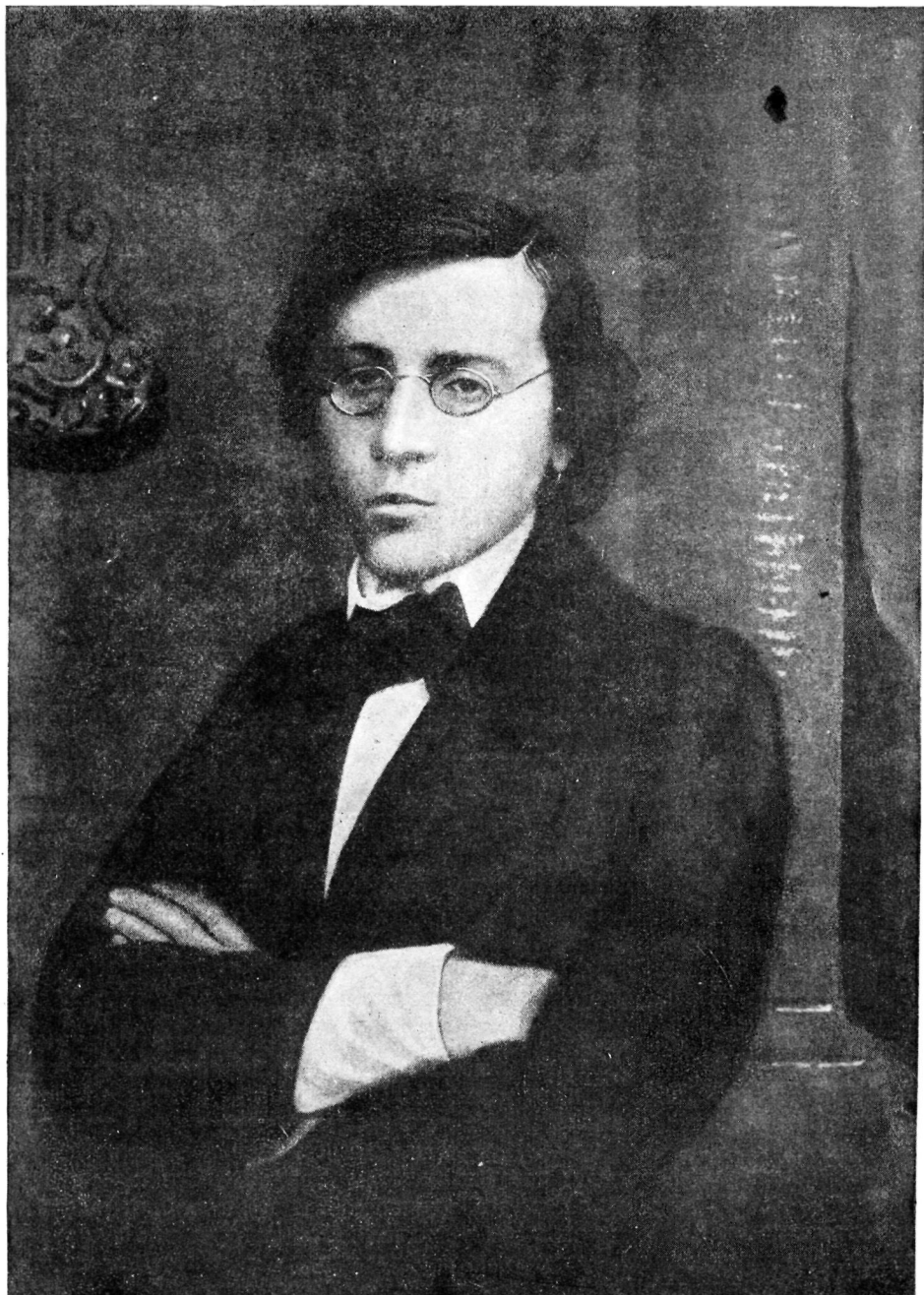
Здесь погребены
Анна и Пулхерия
Супруга и дочь
Болховитиновы,
Скончавшиеся

Первая на 22-м году жизни,
Августа 21-го дня 1799 года,
Вторая на 1-м году от рождения,
2-го июля того же года,
Которым.....»

и еще десять стихообразных строчек. «По овдовении, в 1799 году протоиерей и т. д. и т. д.» (стр. 227—8).

Скажите, кто же из соотечественников нашего отечества не заинтересуется статьею, в которой сообщают такие интересные местные достопримечательности? Другая ученая статья повествует «о благочестивых обычаях и религиозных учреждениях, существующих у жителей Воронежской епархии»³.

«В заглавии нашей статьи», говорит автор ее, «указываются как будто два различных предмета; но мы большого различия в них не допускаем. Правда, между понятиями «благочестивый обычай» и «учреждение», представляется такая же разница, как между делом самопроизвольным и делом по заказу. Но «...оказывается вот что: «для иного народно-религиозного явления, или по-просту дела, вовсе никогда не было никакого заказа, или приказа, — а оно между тем, это явление или дело, держится в народе так же твердо, как и законное; с другой стороны,— если основанием какого-либо подобного явления и был приказ, т. е. какое-либо распоряжение, какой-либо власти, да забыт, потому что не был записан, или и был записан да запись утратилась, и никто не может даже сказать ничего определенного о времени и обстоятельствах этого приказа, — между тем явление, одолженное ему своим бытием, всегда существовало и живет в народе неистребимо: то будем ли мы правы и проч. и проч.» (стр. 324).— «В Дивногорский монастырь путешествуют жители Воронежской епархии к иконе божией матери, именуемой Сицилийскою. Икона в длину около пяти четвертей и около аршина в ширину, украшена сребро-позолоченою ризой с жемчугом» (стр. 331).— «Местных и случайных крестных ходов, совершаемых в Воронежской епархии, много; но из них, о более благолепных и торжественных, каковыми они удобнее могут быть в городах, мы к сожалению, имеем мало сведений. В городе Воронеже, к числу таковых ходов относятся: а) крестные ходы из кафедрального собора в кафедральный Митрофанов монастырь; б) крестные ходы меньшего размера, совершаемые из собора к четырем из приходских церквей.— После крестных ходов, совершаемых в городе Воронеже, все прочие ходы можно разделить на следующие 4 класса: а) ходы вокруг церквей; б) ходы от одного места до другого с какой-либо замечательной иконой; в) ходы в поля, и наконец д) ходы, совершаемые во время бедствий» (подробности см. стр. 338—40).



Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Фотография 1859 г.
Дом-музей Н. Г. Чернышевского, Саратов

—«Крестный ход из Дивногорского монастыря совершается с иконой божией матери Сицилийской, и притом в два места: в г. Коротояк и г. Острогожск. Ходы эти замечательны тем, что учреждены в недавнее время. Жители г. Острогожска 1847 г. 29 августа, упросили настоятеля монастыря испустить икону к ним в город. Настоятель дозволил им нести икону в их город. В следующем 1848 г. граждане Острогожска снова испросили чудотворную икону в свой город. Но на этот раз усердие их помешали другие молитвенники. 30-го июня явились в Острогожске жители г. Коротояка с тем, чтобы по давнему обыкновению взять икону к себе. Граждане острогожские не давали, и вошли к владыке прошением, о дозволении им брать икону из монастыря ежегодно, на том же праве, как это делают жители г. Коротояка; именно на два месяца. В такое время, писали просители, и усердие наших граждан будет исполнено и благолепие церковное в монастыре от сборов значительно умножится. Хотя повелено было удовлетворить благочестивое желание граждан острогожских, но в соглашении о сем предмете с гражданской властью для просителей возникло новое затруднение. Начальнику губернии, крестный ход с иконой из монастыря в г. Острогожск неприменно хотелось приурочить к десятой пятнице по пасхе, так как в это время бывает в городе скотная ярмарка. Наконец крестный ход был разрешен» (стр. 342). «Говоря о крестных ходах с замечательными иконами, автор погрешил бы, умолчав об иконе божией матери всех скорбящих радости, находящейся в Иоанно-Богословской церкви города Воронежа — тем более, что на него возложено промыслом и служение пред сей иконой. О сей иконе прилично здесь сказать и потому, что если с ней одной, или для чествования ей одной, и нет особых ходов, зато без нее не бывает в городе ни одного крестного хода. Это уже одно показывает, каким уважением чествуется помянутая икона. У старожилов города и в целых некоторых фамилиях живо хранится в памяти постоянное и всегда особенное уважение, каким чествуется икона сия, находящаяся в церкви, при которой служит автор. Она всегда считалась явленной и чудотворною. Всегда прибегали к ней, носили ее по домам с особенным усердием и уважением, приглашая конечно и служащих пред сею иконой⁴. Величина иконы: 1 аршин и 6 вершков длины и 1 аршин ширины, почти квадратная; лик самой пресвятой богородицы, давно уже покрыт слюдой, а равно и лики других сопричастующих ей» (стр. 344—5). «Почти во всех доселе описанных нами крестных ходах легко можно усмотреть побуждения, породившие их; это — или чувство благодарения к богу и святым его за дарованные благодеяния, или желание торжественнее почтить праздники господни, равно как и самые иконы, от коих когда-либо проистекала или проистекает благодатная помощь» (стр. 345). «Род местных благочестивых обычаев у жителей воронежской епархии составляет еще особого рода празднование некоторых праздников. Накануне нового года, вечером, парубки и дивчата с молодимицами ходят по улицам, останавливаются под окнами домов и поют щедривку: «св Исус Христос ужинать, пришла к ему божя мати: ой, дай, сынку, золоты ключи отпереть рай» и т. д. Накануне рождества и богоявления варят кутью и вывар из разных плодов и ставят их на покуте (угол под образами). Вообще воронежская епархия, отличается особенным благочестием» (стр. 357)⁵.

Статья «Город Нижнедевицк и его уезды»⁶ представляет много интересных подробностей; в ней говорится, что «цивилизация Нижнедевицка идет медленно и на пути просвещения жители его не делают заметных успехов». Рассказывается — чему впрочем мы не совсем верим — будто бы крестьяне Нижнедевицкого уезда живут в курных избах не совсем чистых, едят щи, кашу, грибы, лук и картофель, а иногда и молоко, будто бы

«мужья спят с женами, особенно молодые» (стр. 277), верят в леших, домовых, ведьм и «в обыкновенных своих житейских делах подчиняются пред-
рассудкам» и т. д. Другие ученые статьи не представляют местного интереса и написаны не соотечественниками нашего отечества, а учеными отдаленной Европы⁷, и попали в «Воронежский Сборник» к величайшему своему изумлению. Чисто литературный отдел «сборника» чрезвычайно богат и разнообразен: есть тут повести, романы, драмы с прологом и эпилогом, и оригинальные и переводные; стихов целая бездна; одних стихотворений г. Кельта больше десятка номеров. В них воспеваются красоты природы, в особенности любовь, любовь счастливая, когда она говорит ему:

Приди ко мне во мраке ночи—
И много счастья ждет тебя.
Смотри какое совершенство (?)
Сосредоточено во мне!

и любовь несчастная, когда

... Отдалась она вся безраздельно
Ему, но он не дал ей счастья.
Страшна ему стала семейная ноша,
Несносны заботы, занятия.
И стал бедняком он: в кармане ни гроша,
В душе пустота и проклятья,
С утра по трактирам, он целый день рыщет
Отраду там жизни находит,
А вечером к дому дороги не сыщет,
Когда кто-нибудь не проводит.

Подумаешь, что это пародия; а ведь поэт поет совершенно серьезно и думает нас разжалобить своими стихами и возбудить сострадание к той, которая

... все трудится, горячие слезы
В прекрасной душе подавляя.

ВОРОНЕЖСКАЯ БЕСЕДА НА 1861 год,
ИЗДАНИЕ М. ДЕ-ПУЛЕ и И. ГЛОТОВА. СПБ. 1861.

В последнее время Воронеж отличился во многих отношениях, обратил на себя общее внимание и приобрел даже европейскую известность. Важны же, должно быть, воронежские события, когда на них обратила внимание Европа⁸; как же нам оставаться равнодушными к славе Воронежа? Отличаясь пред лицом Европы, Воронеж не забывает и своего отечества и зараз кладет на алтарь отечественного просвещения две лепты в виде двух огромных печатных томов. В провинциальном городе, не имеющем официального учебного центра, вдруг появляются два учено-литературные сборника; как хотите, а это много значит. Конечно, тут дело не обошлось без конкуренции: «Беседа» и «Сборник» знали о существовании друг друга еще до своего появления в свет, и, разумеется, во что бы то ни стало, старались перещеголять друг друга; соревнование было самое усиленное и труд употреблялся самый напряженный. Кто перещеголял и кому принадлежит пальма первенства,— об этом пусть судят сами читатели. «Беседа» пошла иным путем и обнаружила другие вкусы, чем «Сборник»; вместо «Очерка ученых трудов Евгения», находящегося в «Сборнике», в «Беседе» помещена критическая статья о Кольцове г. де-Пуле, не представляющая впрочем ничего замечательного, кроме того, что автор ее

чрезвычайно усиливался поставить «Кольцова на историческую почву» и все-таки не поставил⁹; вместо статьи «об обычаях и учреждениях», украшающей «Сборник», в «Беседе» есть «нечто о воронежских пусто-святах и юродивых», где между прочим говорится, что «Воронеж не только, не отстал от Москвы, породившей пресловутого Ивана Яковлевича¹⁰, но едва ли не превзошел нашу первопрестольную столицу», — что, к досаде хвастливых москвичей, можно сказать обо всех богоспасаемых градах российских; вместо стихотворений Кельта, наполняющих «Сборник», в «Беседе» помещены стихотворения Никитина и Берга; вместо описаний крестных ходов и плача над разрушенною «малыми детьми» пирамидкою Анны и Пульхерии, умилившего нас при чтении «Сборника», в «Беседе» помещены «Материалы для статистики Воронежской губернии», очень подробные и обстоятельные, и несколько интересных исторических документов о местных самозванцах, выдававших себя за Петра III. На основании одного этого, читатель, не задумываясь решит, кому из конкурентов отдать преимущество. Есть, впрочем, в «Беседе» провинциальные наивности, рассказы про виды, виданные везде. «Рождественские святки» у малороссиян Павловского уезда рассказывают, например, что ожидая праздника, малороссияне рано укладываются спать, что первый удар утреннего благовеста пробуждает их и первым делом их бывает благодарение господу; оно выражается крестным знаменем, которым они осеняют чело свое, и возжжением свечей пред иконами; что малороссияне Павловского уезда во время праздников едят, пьют, ходят в гости к родичам, хорошо знакомым и т. д. «Некоторые черты из вседневной жизни помещиков Бирючевского уезда прошлого и настоящего времени» повествуют, что «с водкой встречали гостей и утром и в полдень, и во всякий час после обеда. В то время не пить водку в доме хозяина, значило его обидеть. Чарующее влияние горелки еще более способствовало к удлинению помещичьих визитов, продолжавшихся иногда несколько дней, — явление впрочем обыкновенное во всем русском помещичьем мире» (то-то и есть). — «Еще замечателен другой способ лечения лихорадки: на лоскутке бумаги пишут слова магического треугольника: бракадабра; под этим словом, внизу пишут: бракадабр; ниже этого — ракадаб. и т. д. сокращая слово...» Провинциалы должно быть, не знают, что нам все это очень хорошо известно из «Энциклопедического Лексикона»; известно даже, что это слово, быть может, произошло от абракса. «Как в старину бывало, так и теперь ведется обыкновение, при поздравлении молодых с бракосочетанием, или с желанием будущего счастья, при каждом приговоре приветствующего: «горько» — музыка играет туш, а молодые целуются». Вишь, что придумали бирючевские помещики, — обыкновенно музыка играет! Мы отроду не видали бирючевских помещиков, а знаем однако ж, что они при встрече подают друг-другу руки, некоторые целуются, охотятся, разъезжают на тройках, плодят детей и величают своих супругов «душеньками!»

Украшение «Беседы» составляют произведения Никитина «Тарас» — поэма, и «Дневник семинариста»¹¹. Содержание поэмы очень просто. Тарасу, молодому парню, хотелось жить, как живут люди, и как требовала его богатая и сильная натура; он искал доли и счастья, житья полного и привольного, которое было бы «по нем». Сил у него было много, и он не жалел их, готов был работать сколько угодно; но ему казалось, что труд не должен быть напрасным и ни к чему не ведущим, что работа должна спасать от горя и нищеты. Не все же беспрестанно работать и трудиться из-за куска хлеба, быть в заботах и хлопотах, не зная отдыха не видя приволья и нигде не слыша ни ласки, ни привета; можно когда-нибудь пожить, вздохнуть свободно, отвести душу, порадоваться сердцем. А в жизни Тараса все выходило наоборот: неустанная работа не давала

ему ни на минуту опомниться и перевести дух; он метался в разные стороны, не жалел молодецких сил, работал, работал, а нищета и нужда везде шли за ним по пятам.

Нужда, нужда! Все старые избенки,
В избенках сырость, темнота;
Из-за куска и грязной одежки
Все бьются... прямо нищета!
Житье, житье! закован, точно в цепи,
Молчи, да чахни от тоски...
Эх, если бы махнуть мне на Дон в степи,
Или на Волгу в бурлаки!
Так изнывал Тарас от дум-заботы;
И грезя про чужую даль,
Он шел межами с полевой работы,
Домой, на горе и печаль.

Дома мать старушка рыдает, пьяный отец бушует, бранится и дерется. Прежде он тоже был степенным человеком, трудился и работал, и видно, подобно Тарасу, надеялся жить по-людски, думал доработается до доли и до счастья. А потом увидел, что все напрасно, что труд не привел его ни к чему, что сколько ни трудись, никогда не уйдешь от горькой доли и нищеты. Вот он и перестал работать, надоело ему: пусть-ко еще поработает сын, благо вырос большой, а сам с утра до ночи в кабаке.

«Ну, кто тут? Эй, жена, зажги лучину!
Я шапку пропил... да! смотри.
Весь век работал... ну, пора и сыну
Работать, черт вас побери!»
«Весь век пахал... все нищий... чтожь работа?
Вестимо так. И хлеб и квас —
Мы все добудем! Важная забота!
Ну, пьян. Никто мне не указ!

Сын не отказывался от работы, работал как вол, и за себя, и за отца. Труд для него не страшен, был бы толк в труде, была бы возможность жить.

«Эх-ма, уж день!» Тарас тряхнет кудрями:
Ну, видно после, мол, поспишь...
И вот с сохою едет он полями:
Дорога — скатерть, в поле — тишь.
Заря погасла. Кончена работа.
Уснуть бы, кажется, пора.
Да спать-то парню не дает забота —
Коней ведет он со двора.

Но напрасно трудится парень; нет ему счастья, доля его все горька. Вот он решается искать счастья на чужбине, оставляет родимую сторону, прощается с рыдающей матерью, оставляет даже «милую» и отправляется в чужую даль, в степи. Еще усерднее принимается за труд, работа кипит в его руках.

Стога растут. Покос к концу подходит.
Степь засыпает в тишине
И на сердце, нагая, грусть находит...
Косарь не рад своей казне:
Так много нужд! Он пролил столько пота
Казны так мало накопил...
Куда ж итти? опять нужда, работа;

Опять нужда, растрата сил!
 К чему казна, когда растратишь силы
 И будешь сыт... так до сырой могилы
 Трудись, трудись... но жить когда?
 К чему казна, когда растратишь силы
 И надорвешься от труда?

В самом деле, положение очень неловкое и незавидное. Наконец Тарас отправился бурлаковать на Дону с той же непреклонной решимостью работать до пота, только бы найти долю-счастье. Но и тут он не нашел ничего.

И думал он: вот я и дом покинул...
 Была бы только жизнь по мне,
 Ведь кажется, я б гору с места сдвинул,—
 Да что... заботы все одне!
 Припомнил он, как расставался с милой!
 Зачем? Что ждало впереди?
 Где же доля-счастье?.. Как она любила!..
 И сердце дрогнуло в груди.

И так Тарас ничего не добился своими трудами, лишениями и жертвами; спасая потопавшего плотника, он и сам утонул.— Вот экземпляр и обыкновенная история растений, во множестве произрастающих на нашей почве; и мы рекомендуем поэму Никитина вниманию людей, особенно заботящихся о сближении с почвой¹².

Живется ж людям в нужде без печали!
 Так наши деды жизнь вели,
 Росли в грязи, пахали, да пахали,
 С нуждою бились, в гроб легли!
 И с ними... Точно смерть утеха!
 Ищи добра, броди в потьмах,
 Покуда, свету божьему помеха,
 Лежит повязка на глазах.
 Не весела ты, глушь моя родная!
 Поникли ивы над рекой,
 Молчит дорожка, травкой заростая,
 И бродит люд, как испитой.

«Дневник семинариста» имеет почти такое же содержание, как и поэма; здесь даровитый юноша тоже ищет доли-счастья, хочет жизни разумной, человеческой. Душа ищет простора, ум стремится к знанию, любознательность требует пищи, мысль жаждет света, порывается к свободной и сознательной деятельности; чувство так же заявляет свои права и требует удовлетворения. В уме юноши возникает множество вопросов, везде он встречает предметы, возбуждающие его пытливость и вызывающие на размышление; все бы ему хотелось узнать и понять. Способности у него отличные, усердия и прилежания много; подобно Тарасу он трудится не жалея сил, учится, заучивает уроки, слушает наставления, читает, сочиняет. Но все напрасно; удовлетворения своим стремлениям он не находит, его нравственная натура инстинктивно чувствует продолжающийся голод, недостаток света и свежего здорового воздуха, он сознает, что у него «лежит повязка на глазах». И отчего это произошло, когда были налицо все внутренние средства и условия для развития и просвещения? Бедный юноша не в силах был сам собою справиться с той великой и трудной задачей, которую задавала ему его богато одаренная натура.

Даже при величайшем напряжении своих сил, что он мог сделать один, без указаний и руководства, без совета и наставлений? Разве воспитание не нужная вещь, и даже более, разве оно не неизбежно необходимо? И что такое эти дети природы, и чего они достигают предоставленные сами себе? Самые дикие мысли могут приходить им в голову; но их никак нельзя осуждать за это, они просто достойны сожаления. Белозерский семинарист в начале своего дневника вдаетя, по его собственному признанию, «в самые странные рассуждения» и оправдывает их таким образом:

«Вы забываете, что я связан по рукам и по ногам. Если бы я спросил о чем-либо, не прямо относящемся к моему делу — к лекции, кого чибудь из наших профессоров, меня называли бы дураком; если бы я спросил кого-либо из моих товарищей,— более скромный из них посмеялся бы надо мною, более дерзкий послал бы меня к чорту. На всякий возникающий во мне вопрос, на всякое рождающееся во мне сомнение я должен искать ответа только в самом себе. За что ж лишать меня моей единственной отрады — свободы мысли? Если всюду и перед всеми мне приходится скромно потуплять глаза и покорно наклонять свою голову, по крайней мере в те минуты, когда работает моя голова — когда перо мое не успевает следить за быстрой мыслью, пусть я буду независим, пусть я буду человеком, свободно проявляющим дар своего живого слова» (стр. 133).

Конечно, можно находить ответ и в самом себе, свободно работая мыслью, можно самому разрешать свои сомнения, особенно когда силен ум и крепка мысль; можно пользоваться и внешними посторонними средствами наставления и учения, читать книги, пользоваться наблюдениями и опытами других. Но ведь часто внешние обстоятельства искусственным образом так располагаются вокруг юноши, что он совершенно запутывается в них своею мыслью; искусственные влияния окружают его со всех сторон и нарочно направляются таким образом, чтобы запереть ум юноши в известный заколдованный круг, из которого ему не было бы никакого исхода, или и был исход, да только известного рода. Вследствие этого он и вертится в одном ограниченном кругу понятий, как белка в колесе; и таким хитрым манером у него совершенно стнимается свобода мысли. Он со всех сторон окружен мутным, закопченным стеклом, через которое все предметы непременно должны представляться ему в мрачном, грязном и извращенном виде; ему нет возможности никогда высвободиться из под такого стеклянного колпака, всегда он носит его на себе, и потому в нем не может быть и мысли о том, что предметы могут существовать и могут казаться совершенно в другом виде, чем как они представляются ему; всякое новое понятие, выходящее из круга его условных искусственных воззрений, пугает его, отталкивает его от себя кажуцуюся нелепостью и невозможностью. Он принужден заниматься такими сухими и окаменевшими предметами, что об них невольно притупляется ум; их не переваривает мысль, они только обременяют ее, расстроивают только такие, которые соотвествуют грязному цвету окружающего его колпака, и которые могут содействовать развитию его воззрений в известном только направлении; доступ к нему всего постороннего, чистого и свежего прегражден; ко всему внешнему он питает искусственно и тщательно возбужденное недоверие и даже презрение. Вот и пусть свободно движется его мысль в этой ограниченной рамке, в искусно устроенной тесной клетке, это неволя и тюрьма, а не свобода. Куда бы он ни пошел непременно придет к одной известной данной точке и непременно на ней остановится. Если в таком положении юноша станет искать в самом себе ответов на свои вопросы, то он их вовсе не найдет, или найдет одни только фальшивые и ложные, своих сомнений он не разрешит, а только затушит и затемнит их. Он потеряет даже веру в законность своих есте-

ственных стремлений и требований чувства, которые покажутся ему чем-то омерзительным, что нужно подавлять. Все это волей-неволей заставляет нас сказать, что воспитание полезно и необходимо. Но мы удалились от нашего предмета, «Дневника». Чтобы дать понятие о «Дневнике», выпишем из него наудачу несколько мест.

«Маменька подчивала меня, как гостя. Хорошая она, право! Она давала мне совет относительно занятий, разумеется, в отсутствие батюшки, который не терпит, чтобы женщины вмешивались в дела науки. Взгляд батюшки еще не так строг. Другие смотрят на женщину, как на аспида и василиска. Правда, я много читал, но от всего мною прочитанного выходит заключение такого именно рода, что женщина — аспид и василиск (стр. 133),» — «Мне нужно подумать о плане, заданного нам на каникулярное время, рассуждения на тему: каким образом ум, как источник идей, может служить средством к приобретению познаний (тема изощряющая ум)». — «По выходе из церкви, на паперти, меня встретили две чернички, одна старая, другая молодая и прехорошенькая. Она пригласила меня к себе. Молодая черничка сидела против меня и так близко, что ее горячее дыхание касалось моего лица. Черное платье, застегнутое на груди белую перламутровую пуговкой, растегнулось, и я сгорел от стыда и еще от другого, доселе незнакомого мне чувства. Совесть моя говорила мне, что я поступаю не хорошо, но непонятная сила удерживала меня на месте, занятом мною против чернички. В другой раз я зашел к ним... И лица моего коснулось ее горячее дыхание, моего плеча коснулось полуобнаженное, горячее плечо. По всему моему телу пробежал сладостный трепет. Я крепко обнял обеими руками ее тонкий стан, и на губах моих, в первый раз в моей жизни, загорелся поцелуй... Несколько дней я не брался за перо. Теперь горячка моя поутихла и я могу спокойнее и глубже заглянуть в мою душу. Ясно, что я с намерением не давал воли своему рассудку. Я горю со стыда, когда батюшка останавливает на мне свой взор, будто хочет сказать: «Ах, Вася, не хорошее дело ты сделал» (стр. 141). — В семинарии отец отдал Васю Белозерского под особый надзор и руководство профессора Федора Федоровича К., у которого на квартире он и жил. «Ну, Белозерский, дай-ко мне папиросу; они вон на окне лежат», — сказал мне Федор Федорович, выходя из-за стола: «да пожалуйста, будь поразвязнее и уж извини, брат, что я начинаю с тобой обращаться на ты. Смешно же нам церемониться; ты проживешь у меня не один день...» Так, подумал я, вот и первое сближение ученика с профессором. Посмотрим, что будет далее. — Позвольте узнать, что вы посоветуете мне прочитать по части философии? Он рекомендовал мне следующее: «Опыт науки философии», Надеждина, «Опыт системы нравственной философии», Дроздова, «Опыт философии природы», Кедрова, и несколько разных руководств по логике и психологии. Все это, сказал он, вы можете спросить в семинарской библиотеке. Ну, подумал я, эта песня потянется на долго. Библиотекарь, занимающий вместе с тем и должность профессора, когда попросишь у него какую-нибудь книгу, или отзывается недосугом, или тем, что ключ от библиотеки забыт им дома, или, когда бывает не в духе, просто откажет так: «вы просите книги, а наверное урока не знаете... Читатели! Трепать берете, а не читаете... ступайте откуда пришли!» (стр. 153). — «Федор Федорович вошел в класс и в речи своей сказал: «силы ваши теперь (после каникул) освежились. Итак — вам предстоит с новым рвением взяться за труд, ожидающий вас на широком поле науки. Что касается меня, я употреблю все, зависящие от меня средства, чтобы не пропало даром то время, которое вы проведете со мною в этих стенах»... И он торжественно указал левою рукою на стены. «Садитесь!» Мы сели. Сел и Федор Федорович к своему четырехугольному столику и вынул из бокового кармана своего сюртука небольшую тетрадку. Это были его собственные, или

лучше сказать, академические записки о психологии, по которым когда-то учился он сам, и которые переделывает и сокращает теперь для нас. Последовало медленное чтение. Федор Федорович взвешивал каждое слово, как иной купец взвешивает на руке червонец, пробуя, не попался ли ему фальшивый. «Самонаблюдение, какого требует психология, повидимому, не представляет собою занятия трудного, потому что предмет самонаблюдения для каждого человека есть он сам. Но то самое обстоятельство, от которого зависит, повидимому, легкость психологических исследований, что каждый человек есть сам для себя и предмет и содержание психологических наблюдений, составляет одну из главнейших трудностей в деле самонаблюдения; потому что человек меньше всего знает то, что он есть. Чтобы наша душа могла наблюдать самое себя, для этого ее мысль, ее сознание должны быть обращены на нее же саму; между тем: А) познание, приобретаемое нами таким образом о нашей душе, совсем не так ясно, как познание о внешнем мире и других предметах. Познание об этих предметах может быть для нас ясным оттого, что они противопоставляются нашей душе, как отличное от нее; но наше я не может противопоставить самого себя, как внешний предмет. Правда, что при самонаблюдении возможно раздвоение некоторым образом и самопротивопоставление нашего сознания потому, что кроме акта наблюдения должны также продолжаться действия наблюдаемые, но при таком наблюдении сознания обыкновенно ослабляется сила и живость наблюдаемых им психологических явлений. Тогда как в внешнем мире предметы представляются нам в раздельности, мир внутренний является пред внутренним оком в совершенном смещении...» — «Я привожу здесь этот отрывок лекции с тою целью, чтобы он поглубже, так сказать, засел в мою голову.» — «Случайно я достал и прочитал Гоголя. Так вот, кто этот Гоголь!.. И об этом-то Гоголе одному из наших наставников угодно было выразиться, что произведения его пахнут кухнею и конюшнею, что им выведены на сцену какие-то обжоры и разная сволочь, что все это уродливо и безобразно. Ну, нет, почтеннейший наставник!! Уж на этот раз позволите с вами не согласиться. Чичиков, Плюшкин, Собакевич, Ноздрев, — это такие личности, которые никогда не выйдут из моей памяти. Читая книгу, мало того, что я их вижу, мне кажется, я их осязаю, мне кажется, я чувствую их дыхание. Жизнь ключем бьет из каждой строки! Господи, да какой же я дурак! Прожить 19 лет и не прочитать ни одной порядочной книги... Все живое до того мне чуждо, как будто я существую на другой планете и нет у меня ни костей, ни плоти» (стр. 161). — «Вчера Федор Федорович праздновал день своего рождения. Вечером собралось несколько профессоров; пришел и Иван Ермолаевич. Вступив прямо из академии в должность профессора, он хотел было ввести в своем классе новый метод преподавания, советовал ученикам знакомиться с русскою литературою и выписывать общими силами журналы. Ученики его полюбили. Начальство поставило ему на вид, что он читает не в светском учебном заведении, и приказало ему вперед не умничать. Иван Ермолаевич покорился не вдруг. Ему снова сделали замечание. Он решился оставить семинарию и занять место гражданского чиновника; к сожалению, места не нашлось; бедняга притих, стал заливаться и заниматься делом спустя рукава. — Между тем началось приготовление к закуске. В это время Иван Ермолаевич, никем не замеченный, вышел в переднюю и стал отыскивать свои калоши. Я подал ему его шинель. «Вы семинарист?» — спросил он меня. — Да, семинарист. — «А к лакейской должности не чувствуете особенного призвания?» — Нет, — отвечал я с улыбкою. «Ну, слава Богу. Что ж вы третесь в передней. Шли бы лучше в свою комнату и на досуге читали бы там порядочную книгу... До свидания». — Он надвинул на глаза свой картуз — и ушел. Я не оставался без дела: помогал кухарке перетирать тарелки, сбегал однажды за квасом, которого оказалось мало и за ко-

торым кухарка отказалась итти в погреб, сказав, что по ночам она ходить всюду боится и не привыкла, и ломать своей шеи на скверной лестнице не намерена. Потом опять взялся перетирать тарелки и, по неумению с ними обходиться, одну разбил. Кухарка назвала меня разинею, а Федор Федорович крикнул: «нельзя ли поосторожнее?» Наконец, каждому гостю поочередно я розылкал и подал калоши, накинул на плечи верхнее платье, и усталый, вошел в свою комнату. Сальная свеча нагорела шапкою и едва освещала ее неприветные стены. Федор Федорович заглянул ко мне в дверь. — «Вот видишь, мы там сидели, а тут целая свеча сгорела даром. Ты, пожалуйста, за этим смотри» (стр. 169—70)». «Не скажу, чтобы я сделался ленивым оттого, что пристрастился к чтению. Уроки выучиваются мною попрежнему. Но все это делается *ex officio*, а уже никак не *con amore*. Ни одно слово из бесчисленного множества остающихся в моей памяти слов не проникает в мою душу, ни одно слово не веет на меня освежительным дыханием жизни, близкой моему уму или моему сердцу» (стр. 179). «Наступил экзамен нашему классу. Ученики выходили по вызову друг за другом. И вот один, малый впрочем не глупый (относительно) замялся и стал в тупик. «Ну что ж. Вот дурак. Повтори, что прочитал.» — Хотя творчество фантазии, как свободное преобразование представлений, не стесняется необходимостью строго следовать закону истины, однако ж показуясь представлениям, взятыми из действительности, оно тем самым примыкает уже к миру действительному. Оно только расширяет действительность до правдоподобия и возможности... «Что ты разумеешь под словом: показуясь? — Слово: проявляясь. «Ну, хорошо. объясни, как это расширяется действительность до правдоподобия». Ученик молчал. «Ну, что ж, объясни...» Опять молчание. — «Вот и дурак. Ведь тебе объяснили? «Объяснили.» — Ну, что ж молчишь? — «Забыл». Федор Федорович двигал бровями, делал ему какие-то непонятные знаки рукой; ничто не помогло. Не утерпел он — и слова два шепнул. «Нет, что ж. Подсказывать не надо.» «Вы напрасно затрудняетесь», сказал ученику один из профессоров. «Юрия Милославского читали?» — Читал. «Что же там — действительность, или правдоподобие?» — Действительность. «Почему вы так думаете?» — Это исторический роман. — «Нет, что ж, дурак. Положительный дурак! сказал отец-ректор и махнул рукою.» История в этом роде повторилась со многими. Едва доходило дело до объяснений и примеров, ученики становились в тупик. В числе других вышел ученик второго разряда, очень молодой, красивый и застенчивый, за что товарищи прозвали его прелестною Машенькою. Он робко читал по билету, который ему выпал, и во время чтения не поднимал ресниц. «Так, так», говорил отец-ректор: «продолжай». И затем он обратился с улыбкою к профессорам: «какой он хорошенький, а? не правда ли? Как тебя зовут?» — Александром. К концу экзамена отец-ректор, как видно, утомился. Стал смыкать свои глаза и пропускать нелепые ответы мимо ушей. Ученики не преминули этим воспользоваться, однако один попал впросак: заговорив об органах чувств, он приплел сюда и память, и творчество и прочее, и прочее, лишь бы не молчать. Вот, сколько мне помнится, образчик на выдержку: «Органы чувств суть: глаза, уши, нос, язык и вся поверхность тела. Заучивание бывает механическое и разумное... однако ж бывают случаи, фантазия может создать крылатую лошадь, но только тогда, когда мы уже имеем представление о лошади и крыльях и сверх того... и... напрасно строгие эмпирики отвергают в нас действительность кма, акт высшей, познавательной способности...» — Так, так! — говорил отец-ректор, бессознательно кивая головою. Федор Федорович не прерывал этой галиматши, что было очень понятно» (стр. 181—2). «Григорий, слуга Федора Федоровича, заболел простудою и слег в постель. Таким образом волею-неволею мне пришлось заменить его должность, т. е. состоять на посылках и исполнять разные поручения и прихоти моего наставника. Только-

что я возьмусь за книгу, — «Василий!» — раздается знакомый мне голос: «сходи-ка-ко на рынок и купи мне орехов, да смотри, выбирай, какие по-свежее». Орехи принесены, молоток, чтобы разбивать их, подан, я опять берусь за книгу и читаю при громком стуке молотка. «Василий! поди-ко собери скорлупу и вынеси ее на двор». Скорлупа вынесена, я снова принимаюсь за книгу. «Василий! поди-ко вычисти мне сапоги». И вот я развожу на старом блюдечке ваксу и чищу сапоги, а наставник мой покоится на диване, заложив под голову свои руки, курит папиросу и смотрит на потолок. Теперь я окончательно убежден, что он строго следит за ходом моего развития. Сегодня за обедом у меня был с ним следующий разговор: «Чем ты занимаешься?» — спросил он у меня, накладывая себе на тарелку новую порцию жареного поросенка. — Читаю Фон-Визина. — «Читал бы что-нибудь серьезное если уж есть охота к чтению, вот и была бы польза. Эти Фон-Визины с братиею отнимают у тебя только время. Что это за сочинение? Вымысел и больше ничего. Кажется, я говорил тебе, какие книги ты должен читать из нашей библиотеки». «Да, — подумал я, — просьбою о выдаче мне этих книг я надоед библиотекарю так же, как надоедает иной заимодавец своему должнику об уплате ему денег. Кончилось тем, что победа осталась на моей стороне. Библиотекарь, выведенный из терпения, плюнул и крикнул с досадою: «возьми их, возьми! Отвяжись пожалуйста!...» — Я читал «Опыт философии» Надеждина, сухо немножко, сказал я, стараясь по возможности смягчить вертевшийся у меня в голове ответ: темна вода во облацех. — «Смыслишь мало, оттого и выходит для тебя сухо. А ты делай так: если прочитал страницу и ничего не понял, опять ее прочитай, опять и опять... вот и останется что-нибудь в памяти и не будет сухо». На последнем слове он сделал ударение. Очевидно, ответ мой ему не понравился. — «Чтение журналов», — продолжал он, — «тоже напрасная трата времени. Ты видишь, я сам их не читаю, а разве проигрываю от этого? Тебе, например, дается тема: знание и ведение суть ли тождественны, или в чем состоит простота души, — ну что же ты почерпнешь из журналов для своих рассуждений на обе эти темы? Ровно ничего. Нет, ты читай что-нибудь дельное, а не занимайся пустяками» (стр. 189—90). — Однажды к Федору Федоровичу пришел Иван Ермолаич и завел с ним спор. «Но помилуйте! Что ж это такое? Чем я виноват? — вскричал Иван Ермолаич, поднимаясь со стула и вдруг одушевляясь: — вот ученики собрали 30 руб. сер. и просили меня, слушайте: чтобы я составил им по своему выбору библиотеку, которою они могли бы постоянно пользоваться и от времени до времени ее увеличивать. Мысль прекрасная, не правда ли? Я пошел к отцу-ректору и объяснил ему, в чем дело. «Вы, сказал он, спросились бы прежде у того, кто постарше вас, тогда и собирали бы деньги». — Деньги, отвечал я, мне принесли собранными. «Так, так. Ну, что ж вы хотите купить?» — Конечно, говорю я, что-нибудь для легкого чтения, например: сочинения Пушкина, романы Вальтер Скотта, Купера... «Ну, вот, вот! Пушкина... стишки, больше ничего, стишки. Опять вот Купера. Кто это такой Купер? О чем он писал? Нет, нет! романы нам не годятся.» — Да ведь у нас читают Поль-де-Кока и тому подобное. Ведь это помои! Не лучше ли дать ученикам что-нибудь порядочное... «Нет, что ж... нам это не годится. Вы уж пожалуйста не ходите ко мне вперед с такими пустяками А деньги отдайте назад, непременно отдайте». — Помилуйте! — возразил я: устройство библиотеки... «Занимайтесь своим делом, вот что! Мне некогда пересыпать с вами из пустого в порожнее. До свидания!...» — «Скажите по совести, что ж это такое? заключил Иван Федорович» (стр. 197).

Выше мы говорили о необходимости образования, а теперь нам пришлось в голову сказать, что с некоторыми юношами и образование ничего не может сделать, т. е. никак не может переделать их по своему. Их не спутывают ни внешние искусственные обстоятельства, ни искусственные влияния; они

смело выходят из тесного заколдованного круга, сами себе пробивают дорогу и смотрят на все неотуманенным взглядом. Но это природы редкие, избранные и дорога их усеяна тернием. Чрезвычайных усилий и борьбы стоит им разорвать оковы, связывающие их мысль; эти оковы оставляют на них кровавые и часто смертельные следы и язвы. Выбиваясь из ограниченной, окружающей их среды, они должны выносить тысячи нравственных пыток, терпеть оскорбления, преследования, испытывать огорчения, оканчивающиеся мучительную болью в груди. Участь их вообще очень незавидна. — Ах, мы опять уклонились от предмета и чуть было не позабыли сказать, что у Белозерского был товарищ, Яблочкин, тоже умный, но строптивый юноша и уж не такого хорошего поведения и прилежания, как сам Белозерский. Вот что между прочим рассказывает об нем последний.

«Однажды в классе, когда профессор говорил о месте пребывания души в человеческом теле и решил этот вопрос тем, что душа обитает во всем нашем теле, — Яблочкин неожиданно поднялся со скамьи: «Позвольте предложить вам возражение», — сказал он профессору.

— «Так как в сумасшедшем человеке душа не может проявлять разумно своего существования, а по существу своему, не деятельною она быть не может, то чем душа эта бывает занята в продолжение иногда многих лет, т. е. до самой смерти сумасшедшего?»

Профессор стал втупик, и, после долгого молчания, сурово ответил: «садитесь на место и вперед прошу поменьше рассуждать, а слушать внимательно то, что вам скажут» (стр. 134—135).

«Вчера, в начале класса (рассказывал Яблочкин), было обращено к нам вступительное слово такого рода: «теперь мы снова приступаем к занятиям. На экзамене перед каникулами отцу-ректору угодно было заметить, что некоторые из вас отвечали ему вяло. На будущее время я требую, чтобы каждый, кого я ни прошу, читал мне лекцию без запинки. А кто во время чтения будет поглядывать на потолок, да выделять эти: гам, гам... того, хотя бы он стоял в первом десятке, я сопхну в 3-й разряд. Вот вам и все!» — «Что ты на это скажешь?» — Уж мы это не раз слышали. Приказано, — стало быть, нужно исполнить, отвечал я. — «Ну, нет, душа моя! Зубрить я не стану. Если бы в самом деле пришлось мне во время ответа взглянуть на потолок, или в сторону — преступление было бы неважное. Экая бурса! Попала на одну ступень и окаменела: ни молодеет, ни стареется» (стр. 159).

«В другой раз» * отец-ректор в классе спросил урок у Яблочкина. Встал он, и начал объяснять лекцию своими словами, и ничего, так знаете, свободно. Объяснил и стоит — улыбается. «Кончил?» спросил его отец-ректор? — Кончил. «Ну, что ж, вот и дурак... и забудешь все через полгода». Яблочкин побледнел, я тоже немного потерялся. Отец-ректор обратился ко мне «у вас в классе 80 человек. Этак нельзя, нельзя! Если каждый из них будет сочинять ответы из своей головы, вавилонское столпотворение выйдет, непременно выйдет...» Я хотел оправдываться. — «Нет, говорит, этак нельзя. Пусть основательно знают то, что для них напечатано, или написано; в их возрасте и этого достаточно...» Повернулся, — и ушел. Я и остался, как оплеванный, и с досады так пробрал Яблочкина, что у него брызнули слезы. Бедный Яблочкин, подумал я: чего ему стоили слезы» (стр. 167—8). «Заходил я к Яблочкину. После нескольких слов со мною, он прилег на кровать. — «Грудь, душа моя, болит, сказал он, смотря на меня задумчиво и грустно: вот что скверно!» — Помнишь ли, сказал я, как тебе досталось за объяснение лекции? — «Еще бы не помнить!» Яблочкин вскочил с кровати. — «Это не беда, это в порядке вещей, что я был оскорблен, и уничтожен моим наставником. Ему все простительно. Его уже

* Рассказ учителя, Ивана Ермолаевича.

поздно переделывать. Но эта улыбка, которую я заметил на лицах моих товарищей в то время, когда у меня брызнули неуместные, проклятые слезы,—эта глупая улыбка довела меня до последней степени стыда и негодования. Дело не в том, что здесь пострадало мое самолюбие, а в том, что эта молодежь, которая, казалось бы, должна быть восприимчивою и впечатлительною, успела уже теперь, в стенах учебного заведения, сделаться тупою и бесчувственною. Вот что мне больно! Что ж выйдет из нее после, в жизни?»— Охота тебе волноваться, сказал я: говоришь, что грудь у тебя болит. — «Как, Вася, не волноваться! Я опять попал было недавно в беду: на-днях в присутствии нескольких человек я имел неосторожность высказать свое мнение на счет одной, известной тебе иезуитской личности, поставившей себе главную задачу в жизни пресмыкаться перед всем, что имеет некоторую силу и некоторый голос и давит все бессильное и безответное!.. «Инспектора?» прервал я его в испуге.— Ну, да! Через два часа слова мои были ему переданы, и он позвал меня к себе.—«Ты говорил вот-то и то?» спросил он меня. Представь себе мое положение! Ответить да, значило обречь себя на погибель; я подумал и сказал решительно: нет! — «А если, продолжал он, я призову двух сторожей и заставлю тебя сказать правду под розгами?» Я молчал. Сторожа явились. «Признавайся», говорит он,—прошу...» Заметь, какая невинная хитрость: Простит!.. «Не в чем», отвечал я, смотря ему прямо в глаза и дав себе слово скорее умереть на месте, чем лечь под розги.— «Позовите тех, при ком я говорил». Я чувствовал в себе какую-то неестественную силу. Глаза мои, наверное, метали искры. Инспектор отвернулся и крикнул: «Вытолкните его, мерзавца, вон и отведите в карцер!» И я просидел до вечера в карцере без хлеба, без воды, едва дыша от нестерпимой вони... Ну, ты знаешь наш карцер.— Яблочкин снова прилег на свою кровать. Грудь его высоко поднималась. Лицо горело (стр. 173—4). «Яблочкин лежит в больнице. Вот что вчера случилось. Во время перемены классов, он закурил в коридоре папироску и стоял на лестнице, которая ведет в комнаты инспектора. Инспектор увидал и позвал его к себе. Через четверть часа Яблочкин вышел от него бледный, как полотно. «Принеси мне, ради бога, немножко воды», сказал он первому попавшемуся на глаза товарищу, прислонился головою к стене и все кашлял, кашлял; наконец, его ноги подкосились, из горла показалась кровь. Его взяли под руки и отвели в больницу. Доктор сказал, что организм его слишком истощен, да кроме того, вероятно, с ним было какое-то потрясение.— Яблочкин умирал: дыхание становилось все тише и тише; руки холодели.— «Это ты, Вася?» — Я, мой милый, сказал я. «Ступай в университет, а здесь...» Голова его упала ко мне на плечо. Я послушал — не дышит. И тихо я опустил его на подушку, перекрестил, закрыл ему глаза и склонился на колени у изголовья его кровати. И долго, долго текли из глаз моих горькие слезы. Вот что он написал мне на память:

Вырыта заступом яма глубокая.
 Жизнь невеселая, жизнь одинокая,
 Жизнь бесприютная, жизнь терпеливая, —
 Жизнь, как осенняя ночь, молчаливая,—
 Горько она, моя бедная, шла
 И, как стельгой огонек, замерла.
 Что же, усни, моя доля суровая!
 Крепко закроется крышка сосновая,
 Плотно сырою землею придавится,
 Только одним человеком убавится...
 Убыль его никому не больна,
 Память о нем никому не нужна!..
 Вот она,—слышится песнь беззаботная,
 Гостья погоста, певунья залетная,

В воздухе синем на воле купается;
Звонкая песнь серебром рассыпается...
Тише!.. о жизни покончен вопрос.
Больше не нужно ни песен, ни слез!»

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ «Пермский сборник» — повременное издание, печатавшееся в Москве. Ко времени написания Чернышевским рецензии вышло две книги. Первая — в 1859 г., вторая — в 1860 г. Говоря о благооклонном приеме, оказанном этому сборнику в петербургских журналах, Чернышевский имеет в виду рецензии, напечатанные в «Отечественных Записках» 1860 г., т. СХХІХ, стр. 36—44, и в «Современнике» 1859 г. № 10, стр. 357—372 и 1860 г. № 5, стр. 62—66.

² Биографический очерк А. Данского («Воронежск. лит. сборник» 1861.). Евгений (Евфимий Алексеевич Болховитинов) (1767—1837), митрополит киевский и галицкий.

³ Статья свящ. Ф. Никонова (ibid, стр. 321—372).

⁴ Фраза, цитируемая Чернышевским: «Находящаяся в церкви, при которой служит автор» в действительности отсутствует в статье Ф. Никонова (см. «Воронеж, лит. сборник» 1861, стр. 344—345). Отсутствуют в ней и слова: «приглашая, конечно, и служащих перед сей иконой».

⁵ Сличение «цитаты», приводимой Чернышевским, с подлинным текстом статьи показывает, что приводимые им выражения взяты не с одной 357 стр. «Воронежского сборника», и что последовательность выражений умышленно нарушена Чернышевским с целью оттенить нелепость резюме автора статьи, утверждающей, что «воронежская епархия отличается особенным благочестием».

⁶ Статья П. Малыгина (ibid, стр. 265—320).

⁷ Имеются в виду помещенные в «Воронежском сборнике» переводы статьи Годри «Д'Орбиньи, его путешествия и открытия» из «*Revue des deux Mondes*» и статьи Грэссе «Верования в духов и мертвецов в классической древности».

⁸ Ироническое замечание это перекликается с цитатой из «Воронежского сборника», приводимой Чернышевским в его рецензии. В жизнеописании митрополита Евгения (уроженца Воронежа) говорится, что он сделался «вторым русским Нестором... прославившим Россию в ученом мире отдаленной Европы»...

⁹ Статья де Пуле о Кольцове, в которой автор намеревался «поставить Кольцова на историческую почву», не заключала в себе ничего, кроме некоторых биографических сведений о Кольцове. Общий невысокий уровень виден хотя бы из заключительных строк ее «Светлый образ его [Кольцова. — Н. Б.] точно так же, как и привлекательная личность Пушкина, до такой степени обаятелен, что невозможно не простить ему темных сторон, которых он, как человек, не мог не иметь, но которые, как бы по преднамеренному определению судьбы, до сих пор — по прошествии 18 лет после его кончины — остаются неизвестными»...

Сам Чернышевский ставил Кольцова, как поэта, очень высоко (см. его письма к Некрасову) — «Переписка Чернышевского» — «Московский Рабочий», 1925, стр. 23, 29, «Очерки Гоголевского периода» и рецензии на «Стихотворения Кольцова» 1856 («Звенья» 1934 г. № 3—4, стр. 570—576).

¹⁰ «Пресловутый Иван Яковлевич — И. Я. Корейша (1781—1861) — широко известный в свое время юродивый и «прорицатель».

В журнальной литературе 60-х годов именем Корейши пользовались в политических целях — чтобы охарактеризовать нелепость взглядов того или иного противника, его сравнивали с Корейшей. Так, в «Северной Пчеле» 1862 г., № 70 в полемических целях связали имя Чернышевского с именем Корейши. В одной из статей там говорилось, что «Чернышевский и Корейша одного поля ягоды».

Упомянутая Чернышевским анонимная статья «Нечто о воронежских дустосвятах и юродивых», помещенная в «Воронежском сборнике» 1861, стр. 145—146, принадлежит И. Г. Прыжову (см. комментарий Альтмана к книге Прыжова «Очерки, статьи, письма». Academia, 1934, стр. 436). В очерках Прыжова Корейше уделена глава в статье «26 московских лжепророков, юродивых, дур и дураков».

¹¹ Несколько раньше Чернышевского о «Воронежской беседе» и о помещенном в ней «Дневнике семинариста» Никитина упомянул в «Современнике» в своих «Заметках нового поэта» И. И. Панаев (см. «Совр.» 1861, № 10, стр. 322—323).

¹² Слова Чернышевского о почве перекликаются со статьей М. Антоновича «О почве (не в агрономическом смысле, а в духе «времени»), которая напечатана, как и данная рецензия Чернышевского в XII книге «Современника» за 1861 г. (стр. 171—188). Статья Антоновича направлена против тогдашних «лженароднических» теорий в литературе.